ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН

ФОМА ФРАНЦИСК ОРТОДОКСИЯ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Эксклюзивная классика (АСТ)

Гилберт Кит Честертон

Фома. Франциск. Ортодоксия

«Издательство АСТ»
1923,1933

УДК 272
ББК 86.37

Честертон Г.

Фома. Франциск. Ортодоксия / Г. Честертон — «Издательство АСТ», 1923,1933 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-144821-9

В эту книгу вошли очерки, посвященные, наверное, двум самым знаменитым католическим святым – Франциску Ассизскому и Фоме Аквинскому, двум беспредельно разным людям, словно бы олицетворявшим собой две столь же разных стороны католицизма как такового – интуитивно-мистическую и рационально-философскую (хотя порой и святой Франциск был не чужд философии, и святой Фома – поэзии). Живо, эффектно и по-честертоновски парадоксально и не без юмора написанные, эти истории жизни и мысли и сейчас представляют огромный интерес для всех читателей, которые увлекаются историей религий и религиозной философии. акже в сборник вошло эссе Честертона «Ортодоксия», справедливо считающееся самой блестящей апологией христианства XX века. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 272
ББК 86.37

ISBN 978-5-17-144821-9

© Честертон Г., 1923,1933
© Издательство АСТ, 1923,1933

Содержание

Святой Фома Аквинский 6
Вступление 6
Глава I 7
Глава II 17
Глава III 22
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Гилберт Кит Честертон
Фома. Франциск. Ортодоксия

Перевод с английского
Н. Трауберг
(«Святой Фома Аквинский»,
«Святой Франциск Ассизский»,
«Ортодоксия» (Главы V, VI, VII)),
Л. Сумм
(«Ортодоксия» (Главы: I–IV, VIII, IX))

© Перевод. Л. Сумм, 2021
© Перевод. Н. Трауберг, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Святой Фома Аквинский

Дороти Коллинз, без чьей помощи автор был бы еще беспомощней, чем обычно.

Вступление

Эта книга – только популярный очерк о великом человеке, который еще не слишком популярен у нас. Она достигнет цели, если те, кто едва ли слышал о святом Фоме Аквинском, захотят прочитать о нем другие, лучшие книги. Вынужденная краткость ведет к определенным последствиям, о которых я хочу предупредить сразу.

Во-первых, я пишу в основном для тех, кто не исповедует веру Фомы; я обращаюсь к тем, кому он интересен, как интересны мне Конфуций или Магомет. Но, рассказывая о нем, неизбежно приходится рассказать и о тех, кто думал не так, как он. Если пишешь о Нельсоне для иностранцев, нужно писать о том, что знает любой англичанин, и отбросить подробности, которые англичанин хотел бы знать. Однако будет трудно обойти тот факт, что Нельсон сражался с французами. Бессмысленно писать о святом Фоме, умалчивая о том, что он сражался с еретиками, хотя это может повредить тому, ради чего я пишу. Смею надеяться, что те, кто считает меня еретиком, не посетуют на меня, если я выражу свое мнение, тем более если я выражу мнение моего героя. Как бы то ни было, я скажу раза два, что раскол XVI века[1] был запоздалым мятежом пессимистов XIII, когда пуританство Августина едва не победило свободу Аристотеля[2]. Если я этого не скажу, я не смогу показать место моего героя в истории. Но рисую я фигуру на фоне пейзажа, а не пейзаж с фигурками.

Во-вторых, в таком простеньком очерке я вряд ли скажу много о философе – в лучшем случае я дам понять, что у него была своя философия. Теологию его вообще изложить невозможно. Одна знакомая дама раздобыла книгу выдержек из святого Фомы и, преисполнившись надежд, углубилась в раздел под невинным названием «О простоте Бога». Потом отложила книгу, вздохнула и сказала: «Если это простота, что же такое сложность?» При всем почтении к ученым изданиям Фомы я не хочу, чтобы мою книгу откладывали со вздохом. Очерк жизни святого – введение в его философию, философия – введение в теологию. Мне дано немного: я помогу читателю взойти на первую ступень.

В-третьих, я не спорю с теми, кто перепечатывает страницы средневековых демонологий, надеясь устрашить читателя незнакомым языком. Образованный человек должен знать, что святой Фома и все его современники, и все противники много веков спустя верили в бесов. В этом были согласны и протестанты, и католики, пока была хоть какая-то теология, и святой Фома отличался разве что своей умеренностью. Я не пишу о таких вещах не потому, что хочу их скрыть, а потому, что они не касаются того, о ком я пишу. И так очень трудно втиснуть такую громаду в маленькую книгу.

---

[1] Раскол XVI века – Реформация, пессимизм XIII века, – ересь альбигойцев. – *Здесь и далее примеч. Л. Сумм, Н. Трауберг.*

[2] Пуританство Августина едва не победило свободу Аристотеля – Честертон имеет в виду спор о свободе воли. Августин, как и кальвинисты (пуритане), верил, что спасение или гибель человека определяется свыше; Аристотель, напротив, утверждал, что человек свободен не только избрать свой путь, но и научиться правильному пути, избавиться от заблуждений.

Глава I
О двух нищих братьях

Не так давно я написал небольшую книжку – примерно такую, как эта, – о святом Франциске Ассизском, а немного позже обещал написать о святом Фоме Аквинском не иначе, то есть не длиннее. Обещание мое под стать Франциску лишь по своей поспешности и никак уж не под стать логичному Аквинату. Можно создать очерк о Франциске; Фоме подойдет только план, подобный плану лабиринта. Об Аквинате надо писать очень много или очень мало. То, что мы действительно знаем о его жизни, легко уместится на нескольких страницах, ибо, в отличие от Франциска, он не растворился в преданиях и легендах. То, что мы знаем, или можем узнать, или могли бы узнать о его деле, вероятно, займет в будущем еще больше книжных полок, чем заняло в прошлом. Святого Франциска можно обрисовать одним штрихом; когда пишешь о святом Фоме, все зависит от того, как заполнишь контур. В очерке о Франциске есть даже что-то средневековое, как в миниатюрах, украшавших книги о том, у кого само имя – уменьшительное[3]. Бессловесный Вол[4] уместится в очерке не лучше, чем бык – в посудной лавке. И все же понадеемся, что очерк такой возможен, особенно теперь, когда охотно берутся за очерки всемирной истории или всего на свете.

Я сказал, что портреты эти – только контуры. Но оригиналы так не похожи друг на друга, что, увидь мы их на вершине далекого холма, они показались бы нам до смешного разными, словно рядом стоят Дон Кихот и Санчо Панса в монашеских одеждах или Фальстаф и Мозгляк[5]. Святой Франциск был маленький, сухонький, натянутый, как тетива, и стремительный, как стрела. Всю жизнь его кидало, швыряло – очертя голову ринулся он за нищим; сбросив платье, устремился в лес; ворвался в шатер султана и попросил себя сжечь. Наверное, он был похож на бурый осенний листок, пляшущий на ветру; похож он был и на ветер.

А Фома был тяжелый, как вол, толстый, медлительный и кроткий, очень кроткий и великодушный, но не слишком общительный. Застенчивость его была сильнее, чем того требует смирение, а рассеянность не пропадала и в промежутках между восхищениями, которые он тщательно скрывал. Франциск был так пылок и порывист, что служители Церкви, перед которыми он внезапно возникал, порой считали его безумным. Фома был так бесстрастен, что студенты, с которыми он учился, считали его дураком. Он и впрямь принадлежал к тем немалочисленным школярам, которые готовы прослыть дураками, только бы дураки побойчее не мешали им думать. Франциск и Фома различны просто во всем. Франциск, как то ни странно, не доверял книгам, хотя пылко любил стихи. Фома книги любил, он ими жил; в сущности, он – тот школяр из Чосера, который предпочел бы сотню книг об Аристотеле всем сокровищам на свете[6]. Когда его спросили, за что он больше всего благодарен Богу, он ответил: «Я понял каждую страницу, которую читал». Франциск прекрасно слагал гимны, обобщал – с трудом. Фома писал всегда, он обобщил и языческую, и христианскую словесность, а для отдыха слагал гимн. Одну и ту же проблему они видели с разных сторон, Франциск – просто, Фома – сложно. Франциск верил, что, если он откроет сердце басурманам, они тут же отрекутся от своего Магомета. Фома мучительно вдавался в тончайшие оттенки мысли, рассуждая об абсо-

---

[3] У кого само имя – уменьшительное – в итальянской традиции святой Франциск именуется «Франческо», т. е. «Французик».

[4] Бессловесный Вол – ниже Честертон рассказывает, что в годы учения святой Фома получил это прозвище, потому что товарищи считали его тупицей. Для Честертона это прозвище важно еще и потому, что, по преданию, вол и осел присутствовали при рождении Христа.

[5] Фальстаф – веселый толстяк, персонаж нескольких пьес Шекспира, в комедии «Виндзорские насмешницы» он сталкивается с Мозгляком.

[6] Школяр – один из персонажей «Кентерберийских рассказов» Чосера, о его страсти к Аристотелю говорится в Прологе.

люте или об акциденциях[7], только для того, чтобы магометане не ошибались, толкуя Аристотеля. Франциск был сыном лавочника или небогатого торговца; и хотя вся его жизнь была мятежом против торгашеской жизни отца, в нем самом были какая-то бойкость, приспособляемость, общительность – все то, из-за чего рынок гудит, как улей. Он очень любил луга, но, как говорится, не давал траве расти у него под ногами. Фома пришел из мира, где мог бы наслаждаться праздностью, и труд навсегда сохранил для него блаженство досуга. Он был на редкость трудолюбив, но никому не пришло бы в голову счесть его деятельным. В нем были черты, отличающие тех, кто работает, когда вправе и не работать. Он родился вельможей, а любовь к покою может остаться привычкой, не будучи соблазном. У него были только лучшие черты знатных – врожденная учтивость, например, большое терпение. Прежде чем стать святым, каждый бывает просто человеком. Стать святым волен каждый человеческий тип, а мы вольны выбирать, какой нам ближе. И вот признаюсь: романтическая слава Франциска ничуть не меркнет для меня, но с годами я все больше люблю грузного человека, несомненно, обладавшего и милостью, и мудростью, как обладают наследственным замком, и гостеприимно, хотя и рассеянно, делившегося ими. Святой Франциск – не от мира сего; и все же, иногда, он слишком для меня боек.

Интерес к святому Фоме возник внезапно в наших колледжах и салонах – вряд ли он мог возникнуть даже десять лет назад, и причины, породившие его, совсем не те, что породили лет на двадцать раньше интерес к святому Франциску.

Святой исцеляет, ибо он – противоядие. Он и мучеником становится, потому что противоядие мучительно, как яд. Обычно он возвращает миру здоровье, преувеличивая то, о чем мир забыл, в каждом веке – разное. Каждое поколение ищет своего святого и, ведóмое чутьем, находит не того, кого хотело бы, а того, кто нужен. «Вы – соль земли», – сказал Христос первым святым[8]. Теперь мы так превратно понимаем эти слова, что бывший кайзер[9] применил их к своим подданным, куда больше похожим на бифштекс. Но соль предохраняет мясо от порчи не потому, что на него похожа, а потому, что она – совсем иная. Христос не говорил апостолам, что они прекрасные люди и других хороших людей на свете нет. Он сказал, что они особенные, что они не похожи на всех, потому эти строки остры и резки, как сама соль. «Если соль потеряет вкус, чем сделаешь ее соленою?» Вопрос этот намного более жесток, чем сетования на то, что хорошее мясо дорого и его нелегко найти. Если мир становится слишком мирским, Церковь бросает ему вызов. Если слишком мирской становится Церковь, миру этот вызов не по плечу.

Парадокс истории в том, что каждое поколение людей спасает святой, ничуть на них не похожий. Викторианцев странно и неудержимо влекло к святому Франциску – их, англичан XIX века, казалось бы, вполне довольных своей торговлей и своим здравомыслием. Не только вполне благодушный Мэтью Арнольд, но те либералы, чье благодушие было для него чрезмерным, медленно открывали тайну Средневековья сквозь перья и пламя странной легенды, рассказанной Джотто[10]. Что-то в святом Франциске пробило самые известные и нелестные свойства английской души, и вышли на поверхность другие, лучшие – скрытая доброта, мечтательная рассеянность, любовь к животным и пейзажам. Святого Франциска, единственного из средневековых святых, полюбили у нас за личные качества. Викторианцы почувствовали, что именно этих добродетелей не хватает их эпохе. Наш «средний класс» обрел своего миссионера в том, кого особенно презирал, – в нищем итальянце.

---

[7] Акциденция – философский термин, означающий не-сущностное свойство (в отличие от субстанции).

[8] Мф. 5:13.

[9] Бывший кайзер – Вильгельм II (1859–1941), германский император (1888–1918).

[10] Джотто ди Бондоне изобразил Франциска беседующим с птицами.

Девятнадцатый век ухватился за романтику францисканства, потому что в нем самом романтики не было. Двадцатый хватается за разумное богословие томизма, потому что в нем самом нет разумности. В чересчур благодушный мир христианство вернулось в образе бродяги; в мир, сходящий с ума, оно возвращается в образе учителя логики. Современники Герберта Спенсера искали лекарства от несварения, современники Эйнштейна ищут лекарства от головокружений. Наши деды смутно почувствовали, что Франциск сложил гимн солнцу после долгого поста; мы чувствуем не менее смутно: прежде чем понять Эйнштейна, надо поверить, что вообще стоит понимать. Мы начинаем наконец догадываться, что если XVIII век считал себя веком разума, а XIX – веком здравого смысла, то XX может назвать себя разве что веком нездоровой бессмыслицы. В таких случаях миру необходим святой, но прежде всего необходим философ. Отдадим поколениям должное – и прежде, и теперь они выбрали правильно. Земля была слишком плоской для тех, кто особенно рьяно утверждал, что она кругла, и Альверно – гора стигматов возвышалась на ней, как на равнине. Для тех, кто отверг Ньютона заодно с Птолемеем[11], земля вообще не земля, а беспрерывное, бессмысленное и, видимо, бесконечное землетрясение. Им уж не до гор – кусочек устойчивой почвы под ногами невероятней для них, чем любая гора. Так двое святых воззвали к двум векам, к веку романтиков и к веку скептиков. Но и в своем XIII веке они делали то же дело, и оно изменило мир.

Могут сказать, что все наше сравнение ни к чему, потому что эти два человека принадлежали к разным поколениям и жили, собственно говоря, в разное время. Небесными близнецами[12] были святой Франциск и святой Доминик. Святого Франциска и святого Фому можно назвать в крайнем случае дядей и племянником. Святой Фома был истинным первенцем Доминика, как друг его, Бонавентура, был первенцем святого Франциска. И все же у меня есть причина (точнее, две причины) сравнивать святого Фому именно со святым Франциском, а не с Бонавентурой-францисканцем. Это сравнение приводит нас самым коротким путем к вопросу о жизни и деле Аквината. Большинство людей грубо, но довольно четко представляют себе жизнь и дело Франциска. И легче всего рассказать о другом монахе, если скажешь: как бы ни отличались друг от друга эти двое святых, они делали одно дело: один – в мире разума, другой – в мире обычной жизни. Но это было одно и то же великое дело, которое так и не поняли в Новое время. Оно было важнее Реформации. В сущности, оно и было реформацией.

Когда мы говорим об этом движении Средневековья, мы должны в первую очередь подчеркнуть две его особенности. Во-первых, несмотря на все, что наговорили о суевериях, Темных веках и сухой схоластике, это движение, в любом смысле слова, вело к большему свету и даже к большей свободе. Во-вторых, несмотря на все, что наговорили о прогрессе и Возрождении и о предтечах современной мысли, это движение почти всегда было правоверным, христианским, оно шло изнутри. В нем не было компромисса ни с миром, ни с язычниками или еретиками. Оно было подобно растению, которое пробивается к солнцу, а не узнику, который впускает дневной свет в тюремную камеру.

Короче говоря, это было то самое, что называют развитием доктрины. Теперь не совсем понимают термин «развитие». Противники католического богословия, кажется, полагают, что оно не столько развивает христианство, сколько бежит от него или, в лучшем случае, приспосабливает его к чему-то другому. Но слово «развитие» значит совсем не это. Когда мы говорим, что щенок развивается, мы совсем не имеем в виду, что он пошел на компромисс с кошкой, – мы просто хотим сказать, что он становится собакой. Когда мы говорим, что ребенок хорошо развит, мы хотим сказать, что он стал больше и сильнее, а не что его обложили подушками и поставили на ходули. Развитие – это развертывание всех возможностей доктрины. Развиваясь,

---

[11] Птолемей Клавдий (90–160) – древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира.

[12] Небесные близнецы – в греко-римской мифологии сыновья Зевса Кастор и Поллукс, превратившиеся в созвездие Близнецов. В переносном смысле – неразлучная пара.

средневековая теология все полнее постигала христианство. Это очень важно понять, потому что общее дело великого доминиканца и первого францисканца, в высшей степени гуманного и естественного, было истинным развитием высшей доктрины, догмы всех догм. Вот почему народная поэзия Франциска и почти рационалистическая проза Фомы – части одного дела. И та и другая – великие ветви католического древа, и зависели они от внешних явлений постольку, поскольку все новое и растущее зависит от них, – они всасывали их и преображали, но продолжали расти в своем собственном образе, а не в чужом. Святой Франциск был рад называть себя трубадуром Господним – но его не радовал бог трубадуров. Святой Фома не примирял Христа с Аристотелем – он примирил Аристотеля с Христом.

Да, несмотря на контраст, столь же явный и смешной, как контраст между толстым человеком и тощим или между высоким и низеньким; несмотря на контраст между бродягой и ученым, между нищим и вельможей, между противником книг и их поклонником, между самым пылким из миссионеров и кротчайшим из учителей, великая истина Средневековья заключается в том, что оба они делали одно дело: Франциск – на улице, Фома – в келье. Они не вносили в христианство ничего внешнего, еретического, языческого – они несли христианство в мир и при этом использовали то, что многим казалось ересью или язычеством. Франциск обратился к природе, Фома – к Аристотелю; и многим казалось, что они поклонились языческой богине и языческому мудрецу. Что сделали они, особенно что сделал Фома, я и собираюсь рассказать. Но я сравниваю его с самым популярным из святых, потому что так проще всего популярно изложить суть дела. Может быть, покажется слишком парадоксальным, если я скажу, что эти двое святых спасли нас от излишней духовности (страшная участь!). Может быть, меня не поймут, если я скажу, что святой Франциск, при всей своей любви к животным, спас нас от буддизма, а святой Фома, при всей любви к грекам, спас от Платона. Но лучше высказать истину в самой простой форме. Они заново утвердили Воплощение, вернув Бога на землю.

Мы еще увидим, что чисто духовная или мистическая сторона веры заняла слишком большое место в первые века христианства благодаря гению Августина, который прежде был платоником и, может быть, так и не порвал с Платоном; благодаря запредельности Псевдо-Дионисия[13]; благодаря тому, что поздняя империя склонялась к Востоку, и было что-то азиатское в жреческих императорах Византии. Все это придавило то, что мы называем духом западным, хотя по праву его можно назвать просто христианским, ибо его здравый смысл свято и просто связан с Воплощением. Как бы то ни было, пока достаточно заметить, что богословы несколько закоснели в гордыне платоновского толка, – они гордились тем, что владеют истинами, которых нельзя ни потрогать, ни перевести, словно у их мудрости не было никаких корней в этом мире. И вот прежде всего (никак не после!) Аквинат сказал им примерно так:

«Не мне, бедному монаху, оспаривать у вас алмазы мудрости, очерченные по самым строгим правилам и сверкающие небесным светом. Да, вы владеете ими, они есть до того, как мы успели подумать, не говоря уж о том, чтобы потрогать или послушать. Но я не стыжусь признаться, что мой разум питается моими чувствами. Тем, что я думаю, я обязан во многом тому, что я вижу, обоняю, слышу, трогаю; и, пользуясь разумом, я вынужден считать действительной эту действительность. Словом, я не верю, что Бог создал человека только для тонких, возвышенных, отвлеченных размышлений, которым вам дано предаваться. Я верю, что есть промежуточный мир фактов, которые через чувства становятся материалом мысли, и что в этом мире властвует разум, представитель Бога в человеке. Люди ниже, чем ангелы, но выше, чем животные, и все, что мы видим вокруг себя. Конечно, человек может быть и вещью, даже очень жалкой вещью. Но то, что сделал Человек, могут делать люди. И если древний язычник Аристотель поможет мне это доказать, я поблагодарю его со всем смирением».

---

[13] Псевдо-Дионисий – неизвестный автор трактатов в духе неоплатонизма «Священная иерархия», «Божественные имена» и др., отождествлявшийся с Дионисием Ареопагитом, крещенным апостолом Павлом.

Так началось то, что обычно называют обращением Аквината к Аристотелю, а можно назвать обращением к разуму и к авторитету чувств. Видите, как это похоже на то, что Франциск слушал не только ангелов, но и птиц. Прежде чем мы подойдем к чисто умственной деятельности святого Фомы, надо понять одну его нравственную черту: кроткое, простодушное смирение. Он готов видеть в себе почти животное – так святой Франциск сравнил свое тело с ослом. Кстати, контраст проявился и в этих метафорах: Франциск похож на простого ослика, который привез Христа в Иерусалим; Фому прозвали волом, но он скорее похож на быка или на чудище из Откровения, почти ассирийского быка с крыльями. И снова этот контраст не должен закрывать общего. Оба они, в своем смирении, славили Спасителя, как ослик и вол в вифлеемских яслях.

Конечно, кроме апологии здравого смысла, питаемого пятью чувствами, у святого Фомы было много других важных и сложных идей. Но сейчас я говорю не о том, что есть у Фомы, а о том, что есть в христианстве. Именно по этому поводу теперь пишут особенно много чепухи. Наши современники приняли без доказательств, что всякий шаг к свободе уводит от веры к безбожию, и начисто забыли одну очень важную черту веры.

Невозможно больше скрывать, что святой Фома Аквинат был одним из великих освободителей разума. Сектанты XVI и XVII веков – редкостные мракобесы – лелеяли легенду о мракобесии Фомы. В XIX веке это еще сходило, в XX не сойдет. Тут дело не в теологии, дело в исторической правде, которая стала понемногу проявляться по мере того, как стихают старые распри. Святой Фома – тот великий человек, который примирил веру с разумом, с опытом, с науками; он учил, что чувства – окна души, что разуму дано божественное право питаться фактами; что только религии по зубам твердая пища труднейшей и самой здравой из языческих философий[14]. Именно он боролся за просвещение и свободу яростней, чем все его соперники и даже последователи. Если мы честно признаем, к чему привела Реформация, нам придется признать, что Аквинат и был реформатором, а те, кого так обычно зовут, – реакционерами, даже если смотреть на них не с моей, а с современной, прогрессивной точки зрения. Так, они боролись за букву древнееврейского Писания, когда Фома[15] говорил о духе, оживотворявшем греческую мудрость. Он говорил о долге дел, они – лишь о долге веры. И наконец, он учил доверять разуму, тогда как они учили, что разуму верить нельзя.

Но тут возникает еще одна опасность. Признав все это, нестойкие души могут броситься в другую крайность. Те, кто обвинял Фому в догматизме, призна́ют в нем противника догмы. Они кинутся украшать его статуи увядшими венками прогресса, скажут, что он обогнал свой век (что, как известно, значит «догнал наш»), и незаслуженно назовут его отцом современной мысли. Он понравится им, и они решат, что он на них похож, – как же иначе, если он может нравиться! Это бы еще ничего, все это было с Франциском. Но даже вольнодумцу не пришло в голову, что Франциск не верил в Бога и не подражал Христу. Он так же раскрепостился и очеловечил веру, как святой Фома, только через воображение, не через разум. Но никто не скажет, что он распускал людей, тогда как он их стягивал, как стягивал веревкой свою одежду. Никто не скажет, что он расчищал дорогу скепсису, или только предвосхищал Возрождение, или прокладывал путь рационализму. Ни один биограф не напишет, что Франциск гадал не на Евангелии, а на «Энеиде», сложил гимн солнцу из поклонения Аполлону или любил птиц в подражание римским авгурам.

Короче говоря, и христиане, и неверующие признают, что святого Франциска вела прежде всего простая (или, если хотите, отсталая) вера в Христа и христианство. Никто, как

---

[14] Только религии по зубам твердая пища труднейшей и самой здравой из языческих философий – аллюзия на библейский текст «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр. 5:14).

[15] Фома Аквинский в своих трудах часто ссылается на Платона и Аристотеля, полагая, что и в греческой мудрости есть дух истины. Противники Фомы упрекали его в том, что он цитирует язычников наравне со Священным Писанием.

я уже сказал, не заподозрит, что он черпал вдохновение из Овидия[16]. Точно так же неверно, что Аквинат черпал вдохновение из Аристотеля. Вся его жизнь, его детство, юность, выбор пути показывают, как он был набожен и как страстно любил веру, еще не зная, что призван за нее бороться. Почему-то забыли, что, освящая чувства и простые, здешние вещи, и Фома, и Франциск оба подражали Тому, кто не был ни Аристотелем, ни Овидием. Они подражали Ему, когда Франциск смиренно был со зверями, а Фома благородно спорил с языками[17].

Те, кто этого не заметил, не понимают веры, даже если она для них – только суеверие. Они упускают самую суть того, что им кажется особенно суеверным. Я говорю о немыслимой истории Богочеловека. Многих трогает, что святой Франциск так просто, «неучёно» взывает к Евангелию. Их учили, что он учился у цветов и птиц, словно это связано только с язычеством Возрождения, хотя трудно не увидеть, что это восходит к Новому Завету, указует на богословие святого Фомы. Им смутно кажется, что гуманизировать божественное – то же самое, что смешивать его с язычеством, но они забывают, что связь Бога и человека – важнейшая и невероятнейшая догма во всем Символе веры. Когда святой Франциск смотрел на лилии в поле или на птиц небесных, он был похож на Христа, а не на Будду. И Фома был похож на Христа, а не только на Аристотеля, когда учил, что и Бог, и Его образ и подобие связаны через материю с этим миром. Оба святых были гуманистами в самом прямом значении слова: они настаивали на огромном значении человека в богословской иерархии. Но они – не гуманисты Возрождения, они не шли дорогой прогресса к современной мысли и повальному скепсису, потому что твердо верили в догму, в которую теперь не верят, и укрепляли поразительную доктрину Воплощения, которая скептикам не под силу.

Да, и Фома, и Франциск верили в Бога, и чем разумней или естественней они были, тем сильнее верили. Они потому и могли быть такими естественными и разумными, что ни в чем не отступали от христианства. Иначе говоря, то, что можно назвать свободным богословием, шло изнутри, из самой глубины католичества. Конечно, в этой свободе не было и нет ничего общего с либерализмом, она даже теперь не может ужиться с ним[18]. Для убедительности остановлюсь на нескольких мыслях святого Фомы.

Так, именно святой Фома считал, что человека надо изучать целиком; что человек – не человек и без тела, и без души. Труп – не человек, но и привидение – не человек. Августин и даже Ансельм все же упускали это из виду, они учили, что одна душа драгоценна и попадает на время в не достойную внимания оболочку. Они были очень духовны, но недостаточно правоверны и чуть не побывали на краю восточной пустыни, по которой можно прийти к переселению душ, то есть поверить, что душа может пройти через сотню не имеющих значения тел, даже сквозь тела животных и птиц. Святой Фома твердо стоял на том, что тело есть тело и человек существует только в единстве и равновесии тела и души. Мысль эта в некотором роде очень близка к современному почитанию материальных предметов. Такой хвалы телу можно ждать от Уитмена[19], такого оправдания – от Лоуренса[20]. Ее можно назвать гуманизмом и даже обругать модернизмом. Можно назвать и материализмом, но к «современной мысли» она отношения не имеет, потому что связана с тем, что кажется теперь самым чудовищным, самым

---

[16] Овидий – Публий Овидий Назон (43 до н. э. – 18 н. э.) – римский поэт, «певец любви».

[17] Они подражали Ему, когда Франциск смиренно был со зверями, а Фома благородно спорил с языками. – «был со зверями» Христос во время сорокадневного поста в пустыне (Мк. 1:13). Языки – язычники, имеется в виду «Сумма против язычников» Фомы Аквинского.

[18] Я употребляю слово «либерализм» в том строго теологическом смысле, в котором его употребляли Ньюмен и другие богословы. В обычном, политическом смысле, как мы увидим дальше, святой Фома был скорее либералом, особенно для своего времени. – *Примеч. авт.*

[19] Уитмен Уолт (1819–1892) – американский поэт. В его поэзии человек прекрасен благодаря своей близости к природе, естественности, роднящей его со всем миром, то есть именно благодаря своему телу.

[20] Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) – английский писатель, превозносивший в своих романах «естественную» жизнь, простую телесную близость.

материальным и потому самым чудесным из чудес. Она связана с самой удивительной догмой, которую модернисты ни за что не примут, – с Воскресением.

Или, например, возьмем его мысли об откровении. Они совершенно разумны и на редкость демократичны. Защищая откровение, он ни в коей мере не нападает на разум; напротив, он считает, что истину можно изложить путем доказательств, если только он достаточно разумен и достаточно долог. Фома был скорее оптимистом (не найду лучшего слова) и преувеличивал готовность людей прислушаться к доводам. Ведя рассуждение, он всегда принимает на веру, что читатель внемлет разуму. Он горячо верит, что человека можно убедить, если довести доказательство до конца, но здравый смысл подсказывает ему, что споры бесконечны. Скажем, я мог бы убедить человека, что материя не в силах породить разум, если бы мы были очень друг к другу привязаны и спорили без перерыва лет сорок. Но задолго до конца спора родится много новых материалистов, и никто не может объяснить все всем. Святой Фома считал, что души обычных, простых, замученных трудом людей так же важны, как души искателей истины; когда же они выслушают все доводы, чтобы истину обрести? Он говорит об этом с уважением к учености и с любовью к обычным людям. Защищая откровение, он не принижает разума – он просто защищает откровение и приходит к мысли, что люди должны познавать высшие нравственные истины чудесным способом, чудом, иначе почти никто их не познает. Доводы его разумны и естественны, вывод – сверхъестествен. Как часто бывает у него, нелегко сделать другой вывод. И вывод этот так прост, что сам Франциск не пожелал бы иного: небесная весть, подсказка с неба, осуществившаяся сказка.

Еще проще рассуждения о более простых вещах, например о свободе воли. Святой Фома особенно чтил то, что можно назвать подчиненной суверенностью или автономией. Он, скажем так, защищал зависимость независимого. Он упорно твердил, что у независимого свои права в своей стране. Так относился он к разуму и даже к чувствам: «Дщерь я в доме отчем, в своем – хозяйка». Именно в этом смысле подчеркивал он особое достоинство человека, о котором нередко забывали, обобщая истины о Боге. Никто не скажет, что он хотел разлучить человека с Богом, – нет, он хотел их различить. В этом остром чувстве свободы и достоинства много того, что особенно ценят теперь, считая благородным, гуманным, либеральным. Но не забудем, что коренится это в свободной воле, в нравственной ответственности, которую отрицают многие наши либералы. Высокой и опасной свободой обусловлены рай и ад, вся таинственная драма души. Это различие, а не разлука; но человек *может* разлучиться с Богом, и в этом – величайшее его отличие.

Другой вопрос сложнее, я коснусь его позже, и то слегка. Философы издавна спорят о множественности и единичности. Настолько ли различны предметы, что их нельзя классифицировать, или так едины, что их нельзя различить? Не пытаясь ответить на это здесь, можем сказать, что святой Фома определенно стоит за разнообразие, которое для него так же реально, как единство. В этом, как во многом другом, подобном этому, он не согласен с великими греками, которые были ему образцом, и совсем не согласен с великими мудрецами Востока, которые были ему соперниками. Видимо, он вполне уверен, что различие между свиньей и сыром, мелом и молоком не мерещится нам, ослепленным единым светом, – оно очень похоже на то, что мы ощущаем. Можно сказать, что это просто здравый смысл, связанный с земным и здравым разумом Аристотеля, с человечной и даже языческой разумностью. Но заметьте, здесь снова встречаются земля и небо. Это связано и с христианской догмой творения – догмой Творца, создавшего свиней, а не космоса, выносившего их во чреве эволюции.

Во всех этих случаях, как мы видим, повторяется то, о чем мы говорили вначале. Фома в философии, Франциск в этике раскрепощали человека, освобождали, расширяли богословие изнутри, но не внесли в христианство ничего еретического или просто мирского. Францисканец не должен был сидеть в монастыре, но он был лучшим христианином, лучшим католиком и даже лучшим аскетом, чем оседлый монах. Томист мог следовать Аристотелю и не во всем

– Августину, но он лучший догматик и лучший богослов, потому что Аристотель помог ему доказать самую смелую из догм – обручение Бога с человеком и тем самым с материей. Никогда не поймут величия XIII века те, кто не понимает, что тогда развивалось нечто новое, и возникло оно из живого. В этом смысле он смелее и свободнее Возрождения, когда воскрешали старое, найденное среди мертвого. Средние века были не возрождением, а рождением. Они не строили храмов на кладбище, не вызывали из Гадеса мертвых богов. Они создали архитектуру такую же новую, как нынешняя, – она и осталась самой современной, а уж позже, в века Возрождения, ее сменила старомодная. Возрождение можно назвать рецидивом. Что бы ни говорить о готике и о Евангелии от Фомы[21], рецидивом его не назовешь. Учение Аквината – титанический толчок, подобный взрыву готики, и сила его от Бога, творящего все новое.

Словом, Фома усилил христианское в христианстве, введя в него Аристотеля. Это – не парадокс, а трюизм, который покажется странным только тому, кто знает Аристотеля, но не знает христианства. Христианин тем и отличается от иудаиста, мусульманина, буддиста, безбожника, что для него святость и Бог неразрывно связаны с материей и миром пяти чувств. Некоторые считают теперь, что, приняв Аристотеля, Фома сделал уступку арабам, как современный викарий делает уступки агностикам. С тем же успехом можно сказать, что уступку арабам сделали крестоносцы. Они хотели спасти место, где находилось некогда тело Христово, ибо верили, что это место по праву принадлежит христианам. Святой Фома хотел спасти то, что и было телом Христовым – священным телом Сына Человеческого, Посредника между небом и землей. Он утверждал тело и все его чувства, ибо думал – верно или неверно, – что оно принадлежит христианам. Быть может, это смиренней и никчемней, чем Платоновы идеи, потому это и христианство. Если хотите, святой Фома пошел по нижней дороге, когда последовал за Аристотелем. Так унизился Бог, когда работал в мастерской Иосифа.

И наконец, двое великих святых не только связаны друг с другом, но и отделены почти от всех своих современников – слишком уж мятежным был их переворот. Испанец Доменико Гусман основал монашеский орден, очень похожий на орден Франциска, и, по чудесному промыслу, почти одновременно с ним. Он решил проповедовать христианство альбигойским еретикам, впавшим в один из видов манихейства, о котором мы еще скажем. Альбигойство уходило корнями в древнюю мистику и нравственное равнодушие Востока. И вот доминиканцы стали братством философов, тогда как францисканцы были братством певцов. По этой причине, по другой ли, но Доминика и его людей плохо знают у нас и совсем не понимают. С прошлого века богословские доказательства стали еще непонятней и неприемлемей для нас, чем религиозные распри. Непопулярность Доминика тем любопытнее, что он – даже больше, чем Франциск, – был правдив, независим умом и нравственно строг, то есть обладал именно теми качествами, которые в протестантских странах считают чисто протестантскими. О нем рассказывают историю, которая была бы куда популярней, если бы речь шла о пуританине. Как-то папа показал на свой пышный дворец и заметил: «Петр не мог бы теперь сказать, что у него нет серебра и золота»; а нищий испанец отвечал: «Да. И еще бы он не мог сказать: “Встань и иди”»[22].

Святой Франциск и святой Доминик стоят в истории рядом, потому что они делали одно дело; однако мы разделяем их самым странным образом. Там, у себя, они – Небесные Близнецы, от которых льется один и тот же свет. Порою кажется, что у них – единое сияние; что их священная нищета – два рыцаря на одном коне. В нашем предании они похожи не больше, чем святой Георгий и дракон. Доминик для нас – палач, завинчивающий испанский сапог, Франциск – добряк, плачущий над мышеловкой. Нам, англичанам, имя Франциска кажется пре-

[21] Евангелие от Фомы – шутка; имеется в виду не апокрифическое Евангелие, приписывавшееся апостолу Фоме, а богословские труды Фомы Аквинского.

[22] «Серебра и золота нет у меня», – ответил Петр нищему и, вместо подаяния, исцелил его, сказав: «Встань и ходи» (Деян. 3:6).

красным, как цветок, и мы не удивляемся, что так звался Фрэнсис Томсон[23]. Назвать ребенка Домиником – почти то же самое, что назвать его Торквемадой[24].

Здесь что-то не так. Правильно ли, что те, кто были союзниками дома, стали врагами на чужбине? Во всех других случаях ошибка была бы явной. Всякий, кто знает хоть немного о Доминике, знает, что он – миссионер, а не преследователь, что дар его – четки, а не дыба и дело его бессмысленно, если бы он не обращал людей. Да, он верил, что мирским оружием можно решать религиозную распрю. Верили в это очень многие, даже Фридрих II[25], не веривший больше ни во что. А те, кто в это не верит, наперечет. Считают, он положил начало сожжению еретиков. Не знаю, но он, конечно, полагал, что должен их преследовать. Говорить, что Доминик только это и делал, все равно что обвинять отца Мэтью, излечившего словом тысячи пьяниц[26], за то, что принятый благодаря ему закон дает полисмену возможность задержать пьяного на улице. Главное в Доминике – дар обращения, а не дар насилия, а разница между ним и Франциском, никого из них не умаляющая, в том, что он обращал еретиков, а Франциск, чье дело как бы тоньше, обращал обыкновенных людей. Нам очень нужен новый Доминик, чтобы обратить язычников, но еще нужнее Франциск, чтобы обратить христиан. И все же мы должны помнить, что Доминик проповедовал целым народам, городам и странам, ушедшим от веры к противоестественным ересям, и блистательно отвоевал несметное множество людей словом и убеждением. Святого Франциска считают мягким и добрым, потому что он пытался обратить сарацинов и это ему не удалось. Святого Доминика зовут мракобесом и фанатиком, потому что он решил обратить альбигойцев и обратил. Мы зашли в странный тупик, откуда хорошо видны Ассизи и холмы Умбрии, но совсем не видны бескрайние поля крестовых битв, а тем более – подножие Пиренеев и побережье Средиземного моря, где чудом святого Доминика погибло азиатское отчаяние[27].

И еще одно соединяет Доминика с Франциском: посмертная слава и прижизненная травля или хотя бы непонятость. Ведь они дерзнули сделать то, что труднее всего прощают: подняли народное движение. Человек, посмевший прямо обратиться к народу, наживает много врагов, начиная с тех, к кому он обратился. Когда же неимущие поймут, что он хочет помочь, а не повредить им, вмешиваются имущие и вредят ему самому. Люди богатые и даже просто образованные не без оснований боятся, что новое изменит и пошатнет мир – не только мудрость века сего, но и настоящую мудрость. Иногда они в чем-то и правы – так, святой Франциск очень легко, беззаботно отбрасывал книги и ученость. Доминик и Франциск совершили переворот, популярный и непопулярный, как французская революция. Нам нелегко понять, как сильно волновали давние события. «Марсельеза» звучала когда-то, как рев вулкана, и цари земные дрожали, страшась небесной кары или – что для них еще ужасней – праведного суда. Сейчас ее играют на приемах, где улыбающиеся монархи беседуют с осклабившимися миллионерами. Революции застывают учреждениями, перевороты стареют, и прошлое, исполненное мятежа и гнева, кажется нам гладкой тканью традиций.

Мы должны представить себе, каким мятежным и новым, грубым и странным, простонародным, даже уличным казалось в XIII веке то, что предприняли миноритыы[28]. Устоявшееся и уже далеко не юное христианство ощущало, что пришел конец эпохи, когда дороги дрожали

---

[23] Томсон Фрэнсис (1859–1907) – английский поэт.

[24] Торквемада Томас (1420–1498) – с 80-х годов глава испанской инквизиции, жестокий преследователь еретиков и евреев. Инквизиция была в руках доминиканцев.

[25] Фридрих II (1194–1250) – германский король, император Священной Римской империи с 1212 г., отличался вольнодумством в религиозных вопросах.

[26] Отец Теобальд Мэтью (1866–1939) – католический священник, боролся с пьянством.

[27] Азиатское отчаяние – ересь альбигойцев; святой Доминик был вдохновителем крестового похода против альбигойцев (альбигойские войны 1209–1229 гг.).

[28] Миноритыы – «меньшие братья», монахи нищенствующих орденов (францисканцы и доминиканцы).

под шагами безымянной и нищей армии. Странный стишок передает дух этого удивления: «Лают собаки, в город во мраке идет попрошаек стая»[29]. Города укреплялись против нее, сторожевые псы сильных мира сего громко лаяли, но еще громче пели францисканцы свою Песнь Солнцу, и громче лаяли псы Господни, Domini canes[30] средневековой шутки. Если же мы хотим измерить глубину и силу этого переворота, мы можем увидеть их в самом первом и самом поразительном происшествии из жизни святого Фомы.

[29] Пер. С. Маршака.

[30] Domini canes (псы Господни, *лат.*) – так осмыслялось название последователей святого Доминика.

Глава II
Беглый аббат

По странной и даже символической случайности святой Фома появился на свет в самом центре цивилизованного мира – там, где пересекались главные силы времени, поверявшие нашу веру. Он был тесно с ними связан. И религиозные распри, и ссоры государей были для него просто семейной неурядицей. Он был багрянородным[31] почти в прямом смысле слова – его близким родственником был император Священной Римской империи. Он мог бы украсить свой щит гербами всех государств Европы – но он отбросил щит. Он был и итальянцем, и французом, и немцем – европейцем в полном смысле слова. Он унаследовал силу норманнов, чьи странные, несущие порядок набеги еще вонзались стрелами в уголки Европы, в границы земли: одна стрела сквозь слепящий снег улетела с герцогом Вильгельмом на дальний Север, другая путем финикийцев и греков пролетела сквозь Сицилию, к вратам Сиракуз. Он был в родстве с государями Рейна и Дуная, оспаривавшими по праву корону Карла Великого: Рыжий Барбаросса[32], спящий под рекою, приходился ему двоюродным дедом, Фридрих II, Чудо света, – троюродным братом. А кроме того, бесчисленными нитями он был связан с Италией, с бурлящей жизнью ее крохотных народностей и тысячами ее святынь. Родич императора, он был связан более крепким, духовным родством с папою. Он понимал весомость Рима; он знал, в каком смысле тот правит миром, и никак не думал, что германские или греческие императоры станут более римскими, чем Рим, бросая ему вызов. К вселенской широте взглядов, принадлежащей ему по праву рождения, он присоединил качества, присущие ему самому, и они помогали народам понять друг друга, словно он был послом или переводчиком. Он много странствовал. Его хорошо знали в Париже и в университетах Германии; очень может быть, что он побывал в Англии, ездил в Оксфорд и в Лондон, и мы повторяем его путь, спускаясь вдоль реки к той станции, которая и сейчас носит имя Черных монахов[33]. Но странствия его разума были еще смелее. Даже врагов он изучал много тщательней и беспристрастней, чем было тогда принято. Он пытался понять мусульман, поклонников Аристотеля и написал в высшей степени человечный и мудрый трактат об отношении к евреям. Он всегда старался глядеть изнутри, из центра, и родился в самом центре высокой политики тех времен. Что он о ней думал, нетрудно понять из следующего рассказа.

К святому Фоме можно было бы применить наше слово «интернациональный». Но тут необходимо вспомнить, в какое он жил время. Мир был тогда интернациональным в том смысле, который сейчас совсем забыт. Человек, вершивший судьбы стран, мог принадлежать в XIII веке к разным национальностям сразу. Народности и страны не были разделены так четко, как теперь. Святого Фому звали волом из Сицилии, хотя родился он около Неаполя, а город Париж уверенно считал его своим, потому что он был светочем Сорбонны, и, когда он скончался, пожелал похоронить его в своих стенах. Можно привести пример поудивительней. Все мы знаем, что такое немецкий ученый. А в XIII веке величайший из немцев – Альберт[34] тоже был светочем Сорбонны.

Попробуйте представить себе, что в наше время немецкий профессор снискал всеевропейскую славу лекциями в Париже.

---

[31] Багрянородный, т. е. «родившийся в пурпуре», царского происхождения.

[32] Фридрих I Барбаросса (Рыжебородый) (1125–1190) – император Священной Римской империи с 1155 г.

[33] …к той станции, которая и сейчас носит имя Черных монахов – «Блэкфрайерз» (черные братья) – одна из станций лондонского метро.

[34] Альберт Великий, фон Больштедт (1193–1280) – немецкий богослов, монах-доминиканец. Альберта считали магом, ходили слухи, что он сумел сделать механического слугу-робота.

Конечно, и в ту пору была распря в христианских землях, но это была всеобщая распря в том смысле, в каком мы говорим о всеобщем мире. Враждовали не страны, не нации, а две Европы, две всеевропейские власти – католическая церковь и Священная Римская империя. Политический кризис христианства влиял на жизнь Аквината и вначале, когда случилась беда, и позже сотней косвенных способов. Разные силы участвовали в нем: Крестовые походы, и альбигойский пессимизм, который святой Доминик сразил словом, Симон де Монфор[35] – мечом, и сомнительный эксперимент инквизиции, и многое другое. Но главным, обобщающим был великий поединок между папами и императорами, точнее, германскими государями, которые называли себя императорами Священной Римской империи. Часть Аквинатовой жизни скрыта во мраке, закрыта тенью одного из них, скорее итальянца, чем немца, – блестящего Фридриха, которого прозвали Чудом света. Надо заметить, что латынь была тогда очень живым языком и в переводе выражения тех лет часто теряют силу. Я читал, что его, собственно, называли Stupor Mundi. И впрямь можно сказать, что он ошеломил мир. Удары, которые он наносил вере, ошеломляли, слепили, как тот удар, с которого почти начинается жизнь святого Фомы. Ошеломляет и то, что этот блеск ослепил его нынешних поклонников.

Фридрих II зловеще и властно встает над детством Аквината, освещая его пламенем битвы. Мы вправе поговорить об этом императоре и потому, что его романтический отсвет мешает историкам увидеть его время, и потому, что такая традиция прямо связана с нынешним взглядом на святого Фому. Точку зрения XIX века (которую почему-то зовут современной) выразил кто-то из весьма солидных викторианцев – кажется, Маколей. Он сказал, что Фридрих был государственным деятелем в век крестоносцев, философом в век монахов. Как нетрудно заметить, здесь принимается за аксиому, что крестоносец – не деятель, монах – не философ. Но это перестанет казаться бесспорным, если мы вспомним хотя бы двух великих современников Фридриха. Святой Людовик был крестоносцем и даже неудачливым, но как правитель он преуспел куда больше, чем Фридрих. При нем стала народней, сильнее, священней самая мощная власть Европы: французская монархия – единственная власть, которая усиливалась пять столетий кряду. Фридрих же был побит и папой, и республиками. Его Священная Римская империя была идеальной, ибо она была мечтой, но никогда не была реальной, как прочное государство, скрепленное святым королем. Можно привести пример из следующего поколения: один из лучших деятелей нашей истории – Эдуард I[36] тоже был крестоносцем.

Вторая половина противопоставления еще неправильней, и ошибку здесь найти легче. Фридрих не был философом в эпоху монахов. Он был вельможей, баловавшимся философией в эпоху монаха Фомы. Конечно, он был умен и блестящ, но если он оставил несколько ценных мыслей о природе бытия и становления, я не думаю, что эти мысли волнуют сейчас студентов Оксфорда или парижских писателей, не говоря уже о томистах, которые появились даже в Нью-Йорке и Чикаго. Я не обижу императора, заметив, что он не был философом в том смысле, в каком был философом Фома Аквинат, даже не сравнивая их масштабов. А святой Фома жил в тот же век монахов, который, по мнению Маколея, не мог порождать философию.

Мы не будем разбираться здесь в причинах викторианского предубеждения, которое еще кажется прогрессивным. В XIX веке решили, что только еретики двигали человечество и только тот, кто расшатывал Средневековье, приносил пользу нынешней цивилизации. Так родились занятные басни о том, что соборы построены тайным обществом, или о том, что эпос Данте – некая тайнопись, связанная с упованиями Гарибальди. На самом деле Средние века были порой общего, общинного мышления, которое во многом глубже и шире, чем нынешнее, индивидуалистическое. Для современников Маколея «государственный деятель» – это чело-

[35] Монфор Симон де (1160–1218) – граф Лейстер и граф Тулузы, вождь крестового похода против альбигойцев (1209–1218).

[36] Эдуард I (1239–1307) – король Англии с 1272 г., участник Крестовых походов.

век, который всегда и неизменно отстаивает самые узкие интересы своей страны в ущерб другим странам, подобно Ришелье[37] во Франции, Четэму[38] в Англии или Бисмарку[39] в Пруссии. Если же кто-то хочет защищать все эти страны вместе, создать их братство, объединить перед лицом внешней опасности (например, перед лицом монголов), его, беднягу, конечно, нельзя назвать государственным деятелем. Он всего лишь крестоносец.

В этом смысле для Фридриха только лестно, если его назовут крестоносцем, хотя на самом деле он был противником Крестовых походов. Он был международным деятелем, мало того – международным воином. Такой воин встречается редко, он особенно раздражает интернационалистов. Они не любят Карла Великого, Карла V[40], Наполеона и вообще всякого, кто пытался создать то самое мировое государство, о котором они кричат день и ночь. Фридрих еще сомнительней, потому о нем и судят без сомнений. Он думал, что возглавляет Священную империю, а враги его полагали, что он хочет основать империю нечестивую. Но даже если бы он был самим Антихристом, свидетельствовал он о единстве христианского мира.

Как бы то ни было, у того времени есть странное свойство – единство не мешало уюту и обособленности. Современные войны возможны не потому, что люди в чем-то не согласны, а потому, что они согласны друг с другом. Тогда они думали по-разному даже о войне, и мир мог разразиться где угодно. Его прерывали распри, их прерывала милость. Предельно разные взгляды жили вместе, за городской стеной, а великая душа Данте разделилась надвое, словно распалось пламя, – он и любил, и ненавидел свой город. Эта глубоко личная сложность ясно видна в истории, которую мы очень поверхностно расскажем. Если вы хотите понять, что я имею в виду, когда говорю, что люди действовали самостоятельно и даже непредсказуемо, обратите внимание на славный род д'Аквино, чей замок стоял недалеко от Неаполя. Граф Ландульф, могучий феодал, очень типичный для тех времен, осаждал монастырь, ибо император считал обитель крепостью папы. Потом, как мы увидим, тот же граф послал в тот же самый монастырь своего сына. Еще позже другой его сын восстал против императора и воевал за папу, а император не замедлил этого сына казнить. Я хотел бы рассказать побольше о брате святого Фомы, ведь он отдал жизнь ради дела Церкви, которое в самом главном было и делом народа. Он не святой, но в нем, несомненно, есть что-то от мученика. Другие два брата, рьяно и честно служившие императору, который убил третьего, изловили Фому, ибо не одобряли новых религиозных веяний. Вот как все сложно в этой средневековой семье. И в Европе тех времен мы видим не распрю наций, а повсеместную семейную ссору.

Я не только поэтому так долго говорю о Фридрихе, о его просвещенности и властности, о его любви к мудрости и его нелюбви к вере. Он первым выходит на сцену, ибо одно из деяний, свойственных ему, ускорило действие пьесы, точнее, привело к упорному бездействию Фомы, первому его приключению в этом мире. История эта покажет, кстати, в каком клубке противоречий пребывали семьи вроде семьи д'Аквино, очень близкие к Церкви и спорящие с нею. Фридрих II, вершивший свои военные и политические дела, от сжигания еретиков до союза с сарацинами, кинулся словно орел на большой и богатый монастырь, взял его и разграбил.

Неподалеку от Монте-Касино на высокой скале, одном из столпов Апеннин, стоял замок «Сухая Скала» – гнездо молодых орлов Аквинского рода. Здесь жил граф Ландульф, родич императоров, отец Фомы и еще семи сыновей. Он был настоящим воином-феодалом и, по всей вероятности, вместе с другими нападал на монастырь. Однако (это очень характерно для того сложного времени) он счел уместным и даже особенно учтивым послать своего сына именно в эту обитель. Он как бы приносил Церкви извинение и решал семейную проблему.

---

[37] Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) – кардинал и первый министр Франции (с 1624 г.).

[38] Уильям Питт Старший, граф Четэм (1708–1778) – премьер-министр Великобритании 1766–1768 гг.

[39] Отто фон Шёнхаузен, князь Бисмарк (1815–1898) – 1-й рейхсканцлер Германии (1871–1890). Все три государственных деятеля, каждый в своей стране, проводили узконациональную политику.

[40] Карл V (1500–1558) – император Священной Римской империи с 1519 г.

Давно было ясно, что ничего нельзя поделать с седьмым его сыном, Фомой, оставалось отдать его в аббаты. Фома родился в 1226 году и с самого раннего детства питал непонятное отвращение к рыцарским забавам. Мальчик он был тихий, толстый, серьезный и на редкость молчаливый; зато уж если открывал рот, прямо спрашивал учителя: «А что такое Бог?» Мы не знаем, что ответил учитель; вернее всего, мальчик искал ответа сам. Конечно, такой человек годился только для церкви, особенно – для монастыря. В этом ничего трудного не было, граф Ландульф легко мог пристроить сына в обитель, причем так, чтобы он занял место, приличествующее его рангу. Все шло к тому, что Фома пострижется – вроде бы он этого и сам хотел, – а потом, со временем, станет настоятелем. И тут случилась странная вещь.

Насколько можно судить по довольно скудным и спорным сведениям, юный Фома пошел к отцу и, совсем как старший сын, сообщающий, что женился на цыганке, или наследник герцога-тори, собравшийся в организованный коммунистами поход против голода, спокойно сказал, что уже стал монахом нового, доминиканского ордена. Только тут становится понятно, как велика была пропасть между старым и новым монашеством, как мятежен переворот Франциска и Доминика. Семья думала, что Фома хочет быть монахом, и не беспокоилась – дверь была открыта, ковер расстелен, иди и садись на высокое место. Он сказал, что идет в доминиканцы, и все кинулись на него, словно звери. Братья преследовали его, изловили, разорвали нищенские одежды, связали его и заперли в башне, как безумца.

Не так просто проследить, как шла семейная ссора и как разбилась она об упорство молодого монаха. По одним источникам, мать противилась недолго и перешла на его сторону. Но правители Европы, почти все – его родня, были очень им недовольны, попросили даже папу вмешаться и одно время надеялись, что Фома будет носить одежду доминиканца в бенедиктинском монастыре. Многим это показалось очень тактичным компромиссом, но не так судил узкий, средневековый Фома. Он резко ответил, что хочет быть нищим не на карнавале, а в нищенствующем ордене, и дипломатичное предложение провалилось.

Томмазо д'Аквино хотел быть нищим. Современники его дивились, и мы дивимся, ибо за всю его жизнь у него больше не было практических, действенных желаний. Он не хотел быть аббатом, не хотел быть оседлым монахом, всю жизнь отказывался от любого поста в своем ордене – он всегда просто хотел быть одним из нищих братьев. Это так же странно, как если бы Наполеон захотел всю жизнь быть простым солдатом. Толстый, тихий, ученый, даже академичный вельможа не мог успокоиться, пока его твердо и официально не признают нищим. Это особенно любопытно потому, что, хотя он в тысячи раз превысил свой долг, он почти не нищенствовал, да и вряд ли стал бы хорошим нищим. Он не родился бродячим певцом, как Франциск, или миссионером, как Доминик. Он вообще не любил бродить. Но он упорно хотел подчиниться строгому уставу и делать то, что ему прикажут. Поневоле сравнишь его с самыми честными из аристократов, которые шли в революцию.

Доминик и Франциск смелостью и упорством бросили вызов глубокому чувству справедливости. Фома был разумен, даже дипломатичен, но ничто не могло поколебать решения, которое он принял в юности, и он не изменил дерзновенному, гордому замыслу – всегда быть на самом последнем месте.

Глава доминиканцев, вероятно, знал о попытках удержать Фому и понимал, как трудно бороться с его родными. Он решил услать юного минорита из Италии и послал его с другими доминиканцами в Париж. Даже в первом шаге бродячего учителя наций было что-то пророческое, ибо Париж стал целью его духовного пути, там защищал он миноритов и Аристотеля. Но едва монахи дошли до источника у поворота дороги, севернее Рима, на них напала целая кавалькада. Всадники схватили Фому, связали и увезли, хотя были они не разбойники, а его чрезмерно взволнованные братья. Схватили его, вероятно, двое, всего же их было семеро, и сторонники контроля над рождаемостью могут сокрушаться, что после благородных разбойников родился еще и философ. Как бы то ни было, дело это странное. Есть что-то занятное и

живописное в том, чтобы похитить нищего монаха, которого можно назвать беглым аббатом. Троица братьев и смешна, и трагична. Пылкие замыслы людей, которых называют практичными, столкнулись с гораздо более практичным упорством того, кого назвали бы отрешенным.

Так вступили братья на свой скорбный путь вместе, как преступник с полицейским, хотя здесь полицейскими были преступники. Такими мелькнули они на фоне истории – братья, мрачнее которых не было со времен Авеля. В сыновьях графа Аквинского воплотилось то самое, из-за чего Средневековье остается тайной для нас; одни считают его чистым светом, другие – непроглядной тьмой. Двое из них олицетворяли дикую гордыню знатных и, подобно дикарям, танцующим вокруг тотема, забыли обо всем, кроме рода, а он еще у́же, чем племя, и гораздо у́же, чем нация. Третий брат (наверное, похожий на них) понимал братство людей куда шире, чем наши демократы. Он верил в милость и смирение, и доброта его была много глубже, чем современная мягкость манер. Он дал обет нищеты, что сочли бы чрезмерным противники богатства и знатности. Из одного и того же замка вышли два дикаря и один мудрец или один святой, гораздо более мирный, чем наши миротворцы. В том и загадка. Эти века – не одна эпоха, а две. Мы долго читаем о людях, годных разве что для каменного века, и вдруг встречаем таких, словно попали в век золотой или в самую современную из мыслимых утопий. Всегда были хорошие люди и плохие, но тогда хорошие и тонкие люди жили вместе с плохими и грубыми. Они рождались в одной семье, росли в одной детской, а потом боролись друг с другом, как боролись братья с Фомой, когда тащили его по дороге и запирали в башне.

Родные пытались лишить его нищенской одежды, но он проявил воинственность предков и победил бы, если бы они не отступились. Заточению он подчинился со всем спокойствием; видимо, ему было не так важно, где размышлять – в башне или в келье. Только один раз он вышел из себя; ни раньше, ни позже он так не гневался. Современников его это поразило по более важным причинам, но есть тут и психологический, и нравственный смысл. В первый и последний раз Фома поистине себя не помнил. Буря вырвалась из башни размышления и созерцания, в которой он обычно жил. Было это тогда, когда братья подослали к нему размалеванную блудницу, желая застать его врасплох и совратить или хотя бы ввести в соблазн. Гнев его был бы оправдан при более низких нравственных притязаниях, чем у него, ибо братья поступили не только плохо, но и низко. Для него было очевидно, что они знают (и они знали, что знает он), как оскорбит его само предположение, что он поддастся столь грубой провокации. Но обида еще горше – она ударяла по дерзновенному стремлению умалить себя, которое было для него гласом небесным. В этой вспышке, как в свете молнии, видим мы, насколько разъярился этот тихий тучный человек. Он вскочил, схватил из огня головню и замахнулся ею, как пламенным мечом. Девица, конечно, закричала и кинулась из комнаты, чего он и добивался, как, должно быть, напугал ее огромный безумец, жонглирующий пламенем! Он мог поджечь дом, но только кинулся за нею, с грохотом захлопнул дверь и, дважды ударив головней, начертал на ней большой черный крест. Потом вернулся, положил головню в огонь и снова сел на свое место, где так любил размышлять, на тайный трон созерцания, которого больше не покинул.

Глава III
Аристотелева революция

Альберт, немец, по праву прозванный Великим, был основателем современной науки. Он сделал больше всех, чтобы подготовить процесс, превративший алхимика в химика и астролога в астронома. Он был одним из первых астрономов, но остался в предании одним из последних астрологов. Серьезные историки уже не придерживаются нелепого мнения, что средневековая Церковь преследовала всех ученых и считала их колдунами. На самом деле было как раз наоборот – миряне считали их колдунами, за что нередко преследовали, а чаще почитали. Только Церковь видела в них именно ученых. Грубые, невежественные соседи винили в колдовстве любознательных клириков, возившихся с зеркалами и линзами, и ничего бы не изменилось, если бы эти соседи были язычниками, пуританами или адвентистами седьмого дня[41]. Даже когда духовенство осуждало ученого за колдовство, это было лучше, чем самосуд. Папа не обвинял в колдовстве Альберта Великого. Это полуязыческие северные племена поклонялись ему как магу. Это полуязычники современных городов, читатели дешевых брошюр, шарлатанских памфлетов и газетных пророчеств еще восхищаются им как астрологом. Давно признано, что для своего времени он знал поразительно много. Конечно, его ограничивал уровень тогдашней науки, но это никак не связано с его верой. Аристотель, философ великой Античности, знал еще меньше. И вообще, дело тут не столько в фактах, сколько в отношении к ним. Схоласты принимали на веру сведения о единорогах и саламандрах, но использовали их не как факты, а как материал для логических выкладок. Они говорили: «Если у единорога один рог, то у двух единорогов столько рогов, сколько у одной коровы», а это верно, даже если единорогов не существует. Однако Альберт в Средневековье, как Аристотель в древности, задумывался над тем, действительно ли у единорога один рог; правда ли, что саламандра родилась в огне, а не у огня, где рассказывают сказки. Когда раздвинулись горизонты, ученые смогли исследовать огонь и пустыню и отказаться от веры в саламандр и единорогов. За что, естественно, их презирает поколение, которое только что обнаружило, что Ньютон – дурак, пространство ограничено и нет в природе последней, неделимой частицы.

Великий немец, прославившийся в Париже, преподавал до этого в Кёльне. В прекрасный римский город[42] стекались к нему любители ни на что не похожей жизни – студенческой жизни Средних веков. Они приходили толпами, из разных стран, и это неплохо иллюстрирует разницу между средневековым и современным национализмом. В любую минуту испанцы могли поссориться с шотландцами, фламандцы – с французами, сверкали мечи, летели камни, – но все студенты учились в одном городе, у одного философа. Перед ними, явившимися с разных концов света, разворачивал отец науки свиток удивительных знаний о солнце и о кометах, о рыбах и о птицах. Он следовал Аристотелю, развивая только одну часть его учения, и в этом был вполне самобытен. Там, где речь шла о человеке или об этике, он к самобытности не стремился – его удовлетворял смиренный, охристианенный Аристотель. Он даже готов был найти компромисс между чисто философскими выводами номиналистов и реалистов. Альберт не стал бы вести один великую битву за уравновешенную и человечную веру, но когда эта битва началась, он в ней участвовал. За большую ученость его прозвали учителем всех наук, Doctor Universalis[43], но скорее он был специалистом. Предание не ошибается: если ученые – колдуны,

[41] Адвентисты седьмого дня – протестантская секта, возникшая в начале XIX в. и исповедующая скорое пришествие Христа.

[42] Кёльн был основан римлянами в I в. до н. э.

[43] Универсальный доктор (*лат.*).

он был колдуном. Ученый и вправду больше похож на колдуна, чем на священника, ибо усмиряет стихии, а не подчиняется Духу, который проще стихий.

Среди его учеников был один, выделявшийся толщиной и ростом и ни за что не желавший выделяться чем-нибудь еще. Когда другие спорили, он всегда молчал, и товарищи признали его тупым. Он был для них переростком, нелепым увальнем, и они прозвали его бессловесным волом. Над ним не только смеялись – его жалели. Один сердобольный студент так сильно пожалел его, что решил объяснить ему основы логики, как объясняют букварь. Тупой студент поблагодарил его кротко и вежливо, и великодушный благодетель бодро объяснял, пока сам не дошел до места, в котором был не очень тверд, вернее, совсем не разбирался. Тогда тупой виновато и смущенно предложил решение, как ни странно – правильное. Коллега уставился на него, как на чудовище, и странные слухи поползли по Кёльну.

Биограф говорит, что к концу беседы «любовь к истине возобладала над смирением». Немногочисленные предания о Фоме становятся на редкость живыми, если мы хорошо представим себе особый человеческий тип, и этот пример нам поможет. Обобщающему уму трудно приспособиться к обычной жизни; люди, по-настоящему хорошо воспитанные, стесняются выказывать себя; и, наконец, человек такого типа предпочитает недоразумение длинным объяснениям. Все это есть в рассказанной истории. Главное в ней – исключительное смирение исключительного человека. Но было и другое, «любовь к истине», о которой нельзя забывать, когда говоришь о святом Фоме. Каким бы отрешенным, рассеянным, погруженным в себя он ни был, он никогда не терял разума. Если его учили неправильно, что-то возмущалось в нем: «Нет, не могу!»

Вполне вероятно, что сам Альберт, ученый учитель, первый что-то заподозрил. Он стал давать Фоме небольшие задания, убеждая его преодолеть застенчивость и принять участие в спорах. Он был проницателен и разбирался не только в единорогах, но и в самом диковинном из чудищ – в человеке. Он знал приметы и признаки тех, кто, на свой невинный лад, особенно удивительны среди людей. Как все хорошие учителя, он понимал, что тупой ученик не всегда туп. Все это естественно, и все же есть что-то странное и символичное в том, что он сделал. Фома Аквинат все еще молчал и ничем не выделялся, когда великий Альберт нарушил молчание своими прославленными словами: «Вы зовете его тупым волом. Говорю вам, вол взревет так громко, что рев его оглушит мир».

Святой Фома был всегда готов с добродушным смирением благодарить Альберта, и Аристотеля, и Августина, и многих других, совсем уж древних, за то, что они научили его думать. Однако на самом деле он пошел гораздо дальше учителя и других аристотелианцев, как пошел дальше Августина и его школы. Альберт обратил наше внимание к природе, к фактам, пусть таким, как единорог и саламандра, но чудище, называемое человеком, нуждалось в более глубоком и тонком исследовании. Фома и Альберт стали друзьями, и дружба эта сыграла большую роль в важнейшей борьбе Средневековья. Как мы увидим, оправдание Аристотеля было настоящим переворотом – может быть, таким же важным, как пыл Доминика и Франциска. Святому Фоме выпало играть огромную роль и в том, и в другом движении.

Семья д'Аквино в конце концов оставила Фому в покое. Гадкий утенок (или черная овца – он ведь носил черный плащ) всегда выпутывается из семейных ссор – утки или белые овцы забывают о нем и кидаются друг на друга. Кажется, часть семьи перешла на его сторону, еще когда он сидел в башне. Во всяком случае, достоверно известно, что он очень любил сестер и потому, вполне возможно, это они помогли ему бежать. По преданию, он спустил из башни веревку, а они привязали к ней корзину – наверное, очень большую, потому что он сел в нее и спустился в мир. Там, в миру, все еще травили нищенствующих монахов. Но Фоме посчастливилось – он попал под покровительство нищего, в чьей респектабельности трудно было усомниться. Тот собирался в Париж, чтобы получить степень доктора, но всякий знал, что любой ход в этой игре – вызов. Альберт выставил только одно требование, которое, наверное, показа-

лось странным, – он хотел взять с собой своего бессловесного вола. Они двинулись в путь как простые монахи, бродяги веры, ночевали в случайных монастырях и пришли наконец в Париж, в монастырь Святого Иакова, где Фома узнал еще одного монаха, который стал ему другом.

Может быть, именно потому, что все миноритыбыли под угрозой, францисканец Бонавентура так подружился с доминиканцем Фомой, что современники сравнивали их с Давидом и Ионафаном[44]. Казалось бы, францисканцы противоположны доминиканцам. Бонавентура был мистиком, а мистики – те, для кого высшая радость в чувстве, а не в мысли. Их девизом всегда было «вкуси и убедись». Фома говорит то же самое, но имеет в виду иное – первые, самые простые ощущения животного по имени человек. Можно сказать, что он идет от чувственно-ощутимого, как вкус яблока, и приходит к жизни разума в Боге, а мистик истощает разум, дабы узнать в конце концов, что ощущение Бога подобно вкусу яблока. И оба правы – вот привилегия тех, кто создает свое, неповторимое мироздание. Прав мистик, для которого отношения Бога и человека – история любви, прообраз всех любовных историй. Прав мудрец, чей разум находит свой дом на небесах, и тяга к истине – сильнее всех скучных человеческих страстей.

И Фоме, и Бонавентуре придавало мужества то, что оба они правы, а весь мир считает их неправыми. В смутное время тех, кто хочет поправить дело, обвиняют в том, что они хотят дело запутать. Никто не знал, кто же победит: ислам, или манихеи, или двуличный император, или крестоносцы, или старые ордена. Но многие ощущали, что все трещит, и знаком смуты считали две вещи: словно греческий бог, обернувшийся божеством Востока, явился от арабов Аристотель, а здесь, у себя, нищие монахи провозгласили неведомую прежде свободу. Монастыри открылись, монахи пошли по миру, и многим казалось, что они летают, словно искры огня, прежде замкнутого в очаге.

Они пламенели какой-то дикой любовью к Богу, и многие ощущали, что призывами к совершенству они совсем лишают равновесия обычных людей. Многие боялись, что они превратятся в демагогов, и кончилось это прославленной книгой яростного сторонника старины, Гийома де Сент-Амур[45]. Он требовал от папы и от короля, чтобы те начали расследование. Тогда Фома с Бонавентурой понесли в Рим свои немыслимые миры, чтобы защитить свободу нищих братьев.

Фома защищал обеты своей юности – любовь к свободе и любовь к бедным. Ему удалось их защитить. Сведущие люди говорят, что, если бы не он, великое народное движение прекратилось бы. После этой победы неуклюжий тихий школяр стал знаменитостью, общественным деятелем. С той поры его имя отождествляли с нищенствующими орденами. И впрямь он обрел известность, защищая эти ордена от поборников прошлого, которые думали так же, как его семья; но стать знаменитым – совсем не то, что делать свое дело. Дело Фомы Аквината было еще впереди, но даже менее умные люди, чем он, могли заметить, что оно все ближе. Можно сказать, что опасность приближалась оттуда, где царило правоверие, точнее, царили те, кто слишком легко олицетворял с правоверием все старое и требовал раз и навсегда осудить Аристотеля. Кое-где его и осудили; противники его все сильнее давили на папу и на судей; опасность возникла потому, что ислам был очень близко от Византии. Арабы завладели греческими рукописями раньше, чем латиняне, истинные наследники греков. Мусульмане (хотя и не самые правоверные) превращали учение Аристотеля в пантеизм, совсем уж неприемлемый для правоверных христиан. Этот второй спор нуждается в объяснении еще больше, чем первый. Теперь многие знают, что святой Франциск был деятель прогрессивный, а его движение, более или менее народное, вело к братству и свободе. Немного дополнительных сведений

---

[44] О дружбе Ионафана, сына царя Саула, и Давида, которому по воле Бога суждено было унаследовать трон Саула, рассказано в I Цар. 20:1-16.

[45] Гийом (Гильом) де Сент-Амур в середине XIII века возглавлял факультет теологии Парижского университета и стремился вытеснить из учебного заведения нищенствующих монахов. Был осужден папой римским, сослан в родную деревню и там написал «Коллекции».

убедит нас, что все это можно отнести и к доминиканцам. Никто в наше время не станет на сторону старых орденов, против таких наглых мятежников, как святой Франциск или святой Фома. Словом, спор о нищенствующих можно изложить кратко. Но о другом великом споре рассказать труднее.

Вероятно, на свете не было ни одной революции. Бывали только контрреволюции. Люди всегда восставали против последних мятежников или, на худой конец, раскаивались в последнем мятеже. Это было бы легко увидеть на примере современной моды, если бы современный ум не считал последний мятеж протестом против всего прошлого. Помадки и коктейли современной девицы – протест против прав женщины, против высоких воротничков и строгой трезвости, которые, в свою очередь, не что иное, как протест против альбома с цитатами из Байрона и томных вальсов викторианской леди, восстающей против матери-пуританки, для которой вальс был дикой оргией, а Байрон – большевиком. Загляните, однако, за плечо упомянутой матери, и вы увидите ненавистную ей распущенность эпохи кавалеров, которые бросали вызов пуританам, а уж те бросали вызов католическому укладу, сложившемуся как протест против уклада языческого. Только сумасшедший может назвать все это прогрессом. Как видите, мы просто мечемся то туда, то сюда. Кто бы ни оказался прав, неправильно одно: если смотреть только с нашего конца, выйдет, что девицы восстают против чего-то непонятного, возникшего неведомо когда и неведомо зачем. Восставая, они ничего не знают о начале, тем самым – о сущности того, против чего восстают.

Когда люди Нового времени закрыли прошлое покровом чернейшего в истории мракобесия и решили, что не было ничего мало-мальски стоящего до Возрождения и Реформации, начали они с того, что не поняли платоников. При дворе заносчивых правителей XVI столетия (как раз досюда разрешают углубляться в историю) они обнаружили поэтов и ученых, враждебных Церкви, которые устали от Аристотеля и, по некоторым подозрениям, тайно увлекались Платоном. Современные люди, ничего не знающие о Средних веках, тут же попались в ловушку. Они решили, что Аристотель – нелепый и тупой пережиток мрачного Средневековья, а Платон – услада Античности, неведомая христианам. Конечно, на самом деле все было наоборот. Устаревшей догмою было учение Платона. Современным и революционным было учение Аристотеля. А во главе революции стоял человек, о котором я пишу.

Да, католическая церковь начала с Платона. Она начала, я бы сказал, с излишней верности Платону. Учением Платона был насыщен золотой воздух Греции, которым дышали первые греческие богословы. Великие отцы Церкви были куда более последовательными неоплатониками, чем мыслители Возрождения (которых можно назвать разве неонеоплатониками). Для Иоанна Златоуста или Василия Великого[46] понятия Логоса или Премудрости были так же естественны, как естественны в наши дни социальные проблемы, прогресс или экономический кризис. Августин, естественно, перешел от манихейства к Платону, а от Платона – к христианству. Уже на его примере можно увидеть, как опасна излишняя верность Платону.

Начиная с Возрождения люди воспылали какой-то дикой любовью к Античности. Теперь считают, что Средневековье все взяло у греков: идеи – у Платона, разум и науку – у Аристотеля. А было не так. Во многом – даже с современной, самой скучной точки зрения – католичество обогнало на века и Платона, и Аристотеля. Можно увидеть это хотя бы в утомительном упорстве астрологии. Философы согласны с суеверием, святые и прочий суеверный люд – не согласны, но и святым было нелегко отрешиться от этого суеверия. Те, кто хулил Аквината за приверженность к Аристотелю, исповедовали два взгляда, довольно занятных для наших дней. Они считали, что небесные тела правят нашей жизнью. Они считали, что в мире есть единый, общий разум, а это несовместимо с верой в бессмертие, тем самым – с верой в личность. И то,

[46] Греческие отцы Церкви Василий Великий (330–379), Иоанн Златоуст (350–407) испытали влияние неоплатонизма.

и другое существует сейчас, вот как сильна власть язычества. Астрология заполонила газеты; другое учение, в сотой своей форме, зовется коммунизмом, душою улья.

Когда я восхваляю Аристотелеву революцию и вождя ее, Аквината, я совсем не хочу сказать, что прежде схоласты не были философами или не знали античности. Пробел в философии – не до Фомы, и не в начале Средних веков, а после Фомы, в начале Нового времени. Великая философская преемственность, которая идет от Пифагора и Платона, не прерывалась ни падением Рима, ни торжеством Аттилы[47], ни варварами. Она оборвалась, когда изобрели книгопечатание, открыли Америку, озарили мир славой Возрождения. Именно тогда оборвалась или была оборвана длинная тонкая нить, протянутая из далекой древности, – нить странной тяги к размышлениям. Пришлось ждать XVIII, в лучшем случае – конца XVII века, чтобы стали известны хотя бы имена новых философов, которые были поистине философами нового рода. Упадок Рима, Темные века, начало Средних философию не презирали, хотя и не замечали тех, кто расходился во мнении с Платоном. У святого Фомы, как у многих новаторов, хорошая родословная. Он сам постоянно ссылается на авторитеты, от святого Альберта до святого Ансельма, от святого Ансельма до святого Августина; и, споря с ними, он их признает.

Очень ученый англиканин как-то сказал мне: «Понять не могу, почему все считают Аквината основоположником схоластики. На самом деле он положил ей конец». Сердился он при этом или не сердился, святой Фома ответил бы очень учтиво. Сохранить учтивость не так уж трудно, ибо ответ легок: на языке томизма «конец» – не уничтожение, но свершение. Что ж, томизм – конец философии, как Господь – конец творения. Мы не исчезаем в Боге, а становимся вечными, как вечная философия Фомы[48]

[47] Аттила (?–453) – вождь гуннов, опустошавших в середине V в. Римскую империю.

[48] Вечная философия Фомы – томизм, объявленный папой Львом XIII в 1879 г. официальной философией католической церкви, вечной философией – philosophia perennis.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.